Инония и Китеж

Иван Алексеевич Бунин

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В статье, написанной к 50-летию со дня смерти Алексея Константиновича Толстого, Бунин сопоставляет «Инонию» С. А. Есенина (1918) со стихотворением А. К. Толстого «Колокольчики мои…», интерпретируя путь лирического героя Толстого как исторический путь всей России, ее цивилизационный выбор. Толстой у Бунина - "большой человек прежней России", который с любовью создавал образ «святой Руси». А "советскому хулигану" Есенину, Блоку и другим "поэтам-пролетариям" писатель не прощает религиозного кощунства. «Правильно тут только одно, — заключает Бунин по поводу «Инонии», — есть два непримиримых лагеря: Толстые, сыны «святой Руси», Святогоры, богомольцы града Китежа — и «рожи», комсомольцы Есенины…».

- Иван Алексеевич Бунин

Иван Алексеевич Бунин
Инония и Китеж

К 50-летию со дня смерти гр. А. К. Толстого

Полвека со дня смерти гр. Алексея Константиновича Толстого.

Каждое воспоминание о каждом большом человеке прежней России очень больно теперь и наводит на страшные сопоставления того, что было и что есть. Но поминки о Толстом наводят на них особенно.

Вот я развернул книгу и читаю:
Глаза словно щели, растянутый рот,
Лицо на лицо не похоже,
И выдались скулы углами вперед —
И ахнул от ужаса русский народ:
Ай рожа, ай страшная рожа!

Что это такое? Это из баллады Толстого о Змее-Тугарине, это рожа певца, нахально появившегося на пиру киевского князя Владимира, рожа той «обдорской» Руси, которую он пророчит, которая должна, по его слову, заменить Русь киевскую. Мысль о том, «чтоб мы повернулись к Обдорам», кажется князю и его богатырям так нелепа, что они только смеются:

Нет, шутишь! Живет наша русская Русь,
Татарской нам Руси не надо!

Но «рожа» не унимается. Вам, говорит она, моя весть смешна и обидна? А все-таки будет так. Вот, например, для вас теперь честь, стыд, свобода суть самые бесценные сокровища:

Но дни, погодите, иные придут,
И честь, государи, заменит вам кнут,
А вече — коганская воля!

И пророчество это, как известно, исполнилось: через долгую «обдорскую» кабалу, через долгое борение с нею пришлось пройти Руси. И кончилось ли это борение? Один великий приступ

Русь «перемогла». Но вот надвинулся новый и, быть может, еще более страшный. Далеко той, прежней роже, что бахвалилась на пиру в Киеве, до рожи нынешней, что бахвалится на кровавом пиру в Москве, где «бесценными сокровищами» объявлены уже не честь, не стыд, не свобода, а как раз наоборот — бесчестие, бесстыдство, коганский кнут, где «рожа» именуется уже солью земли, воплощением, идеалом «новой» России, ее будто бы единственно-настоящим ликом,— в противовес России прежней, России Толстых,— и именуется не просто, а с величайшей и даже мессианской гордостью: «Да, скифы мы с раскосыми глазами!» или, например, так:

Я не чета каким-то там болванам,
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих прозрений дивных свет...
Я вижу все и ясно понимаю,
Что эра новая не фунт изюма вам,
Что имя Ленина шумит, как Ветр, по краю...

Эти хвастливые вирши,— прибавьте к ним заборную орфографию,— случайно попавшие мне на глаза недавно и принадлежащие некоему «крестьянину» Есенину, далеко не случайны. Сколько пишется теперь подобных! И какая символическая фигура этот советский хулиган, и сколь многим теперешним «болванам», возвещающим России «новую эру», он именно чета, и сколь он прав, что тут действительно стоит роковой вопрос: под знаком старой или так называемой новой «эры» быть России и обязательно ли подлинный русский человек есть «обдор», азиат, дикарь или нет? Теперь все больше входит в моду отвечать на этот вопрос, что да, обязательно. И московские «рожи», не довольствуясь тем, что оне и от рождения рожи, из кожи вон лезут, чтобы стать рожами сугубыми, архирожами. Посмотрите на всех этих Есениных, Бабелей, Сейфуллиных, Пильняков, Соболей, Ивановых, Эренбургов: ни одна из этих «рож» словечка в простоте не скажет, а все на самом что ни на есть руссейшем языке:

- Никла Ильинка монашенькой постной, прежняя дебелая, румяная, грудастая бабеха... (Соболь)

- По Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка... (Пильняк)

А некоторые умники в Берлине, в Париже, в Праге тают от умиления: «Ах, говорят они, ах, какой сочный, ядреный русский язык, какая истинно национальная Русь прет теперь из русского чернозема, и как жадно должны мы ловить свет именно оттуда, и

какое обилие там,— только там! — таланта, жизни, молодости».

Да, «страшная рожа» опять среди нас. Тщетно возмущаемся мы:

> Она продолжает, осклабивши пасть:
> .....
> На честь вы поруху научитесь класть,
> И вот, наглотавшись татарщины всласть,
> Вы Русью ее назовете!
> И с честной поссоритесь вы стариной,
> И, предкам великим на сором,
> Не слушая голоса крови родной,
> Вы скажете: «Станем к варягам спиной,
> Лицом повернемся к обдорам!»

Толстой называл себя «певцом, державшим стяг во имя красоты». Он был, как один из его любимейших образов, как Иоанн Дамаскин, «борец за честь икон, художества ограда». На «рожу» он смотрел глазами древней христианской Руси: это воплощение всего бусурманского, дьявольского, воплощение мерзости и безобразности (то есть того, что образа, устроения и гармонии не имеет), безобразности и мерзости не только внешней, но и внутренней. А Красота, Лик были для него воплощением Божественного, того, что творит, устрояет, обладает Искусством (покоряющим бесформенность).

«Красота, прекрасное, как справедливо сказал о Толстом Вл. С. Соловьев, была для него дорога и священна, как отблеск вечной Истины и Любви», как нечто, идущее из самобытного мира вечных идей или первообразов. «Божество, говорит Соловьев, *обладает* полнотой совершенства. Человек, совершенствуясь, *достигает* его. Человек есть самостоятельная особь и кроме того часть всемирного целого. И он должен совершенствовать и самого себя,— личной любовью,— и содействовать совершенству целого, — патриотизмом, чувством солидарности с целым... В поэзии Толстого мотивы любви и патриотизма наиболее характерны... Патриотизм есть желание блага целому — народу, государству, отечеству... Но в чем именно благо отечества? Сам по себе патриотизм может быть источником и добра, и зла... Нужно еще патриотическое сознание, различающее истинное благо отечества от ложного. И та степень патриотического сознания, которая была у А. К. Толстого, до сих пор остается *высшей*... Со всей живостью поэтического представления и со всей энергией борца за идею Толстой славил свой идеал истинно русской, европейской и христианской монархии и громил ненавистный ему кошмар

азиатского деспотизма... Начало истинного национального строя он находил в киевской эпохе нашей истории...

Он мерил благо отечества высшей мерой. И он не ошибался: нам нужно развитие тех христианских истинно-национальных начал, что было обещано светлыми явлениями Киевской Руси...»

Гр. А. К. Толстой есть один из самых замечательных русских людей и писателей, еще и доселе недостаточно оцененный, недостаточно понятый и уже забываемый. А ведь меж тем ценить, понимать и помнить подобных ему надо в наши дни особенно. Ведь существование нации определяется все-таки не материальным (так что восхищаться, например, тем, что Россия «будет мужицкой», по меньшей мере странно). Россия и русское слово (как проявление ее души, ее нравственного строя) есть нечто нераздельное. И не знаменательно ли, что нынешнему падению России, социальному, политическому и всякому прочему, не только сопутствует, но задолго предшествовал упадок ее литературы, когда всякое непотребство стало называться дерзанием, а глупость и истеричность — священным безумием, когда всяческий распад, то есть нечто совершенно противоположное искусству,— сцеплению, устроению,— и всяческие «искания» (то есть как раз то, что не есть искусство и что художник должен скрывать в своей мастерской) были столь бесстыдно прославлены самими же представителями всего этого, не менее бесстыдно, чем славит себя теперь большевизм, являя таким образом одну из самых характерных черт дикарства, необыкновенно хвастливого, как известно?

Теперь «новое» искусство сменилось новейшим. Вот «поэты-пролетарии»:

Сорвали мы корону
Со старого Кремля...
Лучами мажем нервы
И мускулы машин...
За заборами *низкорослыми*
Гребем мы огненными веслами...

Вот «футуристы»:

Белогвардейца - к стенке.
А Рафаэля забыли?
А почему не атакован Пушкин?

Вот какие-то «супрематисты»:

Взяли мы в шапке
Нахально сели,
Ногу на ногу задрав...
Исуса - на Крест, а Варраву
Под руки по Тверскому!

Вот «имажинист», сам себя рекомендующий:

Я бумажка в клозете..

И вот, наконец, опять «крестьянин» Есенин, чадо будто бы самой подлинной Руси, вирши которого, по уверению некоторых критиков, совсем будто бы «хлыстовские» и вместе с тем «скифские» (вероятно потому, что в них опять действуют ноги, ничуть, впрочем, не свидетельствующие о новой эре, а только напоминающие очень старую пословицу о свинье, по саженной за стол):

Кометой вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги..
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиною...
Проклинаю дыхание *Китежа,*
Обещаю вам *Инонию*...

И когда говорят: стоит ли обращать внимание на эту «рожу», на это «миссианство», столь небогатое в своей изобретательности, знакомое России и прежде по базарным отхожим местам? Увы, приходится. И тем более приходится, что ведь, повторяю, некоторые пресерьезно доказывают, что именно из этих мест и воссияет свет, Инония.

Инония эта уже не совсем нова. Обещали ее и старшие братья Есениных, их предшественники, которые, при всем своем видимом многообразии, тоже носили на себе печать в сущности единую. Ведь уж давно славили «безумство храбрых» (то есть золоторотцев) и над «каретой прошлого» издевались. Ведь Пушкины были атакованы еще в 1906 году в газете Ленина «Борьба», когда Горький называл «мещанами» всех величайших русских писателей. Ведь Белый с самого начала большевизма кричит: «Россия, Россия — Миссия!» Ведь блоковские стишки:

Эх, эх, без креста,
Тратата! —

есть тоже «инония», и ведь это именно с Есенинými, с «рожами», во главе их, заставил Блок танцовать по пути в Инонию своего «Христосика в белом венчике из роз». Ведь это Блок писал: *«Народ, то есть большевик, стрелял из пушек по Успенским соборам. Вполне понятно: ведь там туполобый, ожиревший поп сто лет, икая, брал взятки и водкой торговал...»*

— Конь мой, конь, славянский конь! — восклицал Толстой когда-то:

Конь несет меня лихой,
А куда? не знаю!
Упаду ль на солончак
Умирать от зною?
Или злой киргиз-кайсак
С бритой головою
Молча свой натянет лук,
Лежа под травою,
И меня догонит вдруг
Меткою стрелою?
Иль влечу я в светлый град
Со Кремлем престольным?
В град, где улицы гудят
Звоном колокольным?

Теперь ответ на этот вопрос дан: киргизская рука делает свое дело, и перед нами уже не светлый град, не Китеж, а именно он, голый солончак. Но неужели это конец? А если нет, то что дальше? В страшной современности, где возобладал «киргиз», не найти спасительных указаний, русское слово почти умолкло в этой печенежской степи, где высится Тмутараканский Болван, где «лисы лают на русские щиты» (как лают оне, увы, и в эмигрантском стане). При всей своей ничтожности, современный советский стихотворец, говорю еще раз, очень показателен: он не одинок, и целые идеологии строятся теперь на пафосе, родственном его «пафосу», так что он, плут, отлично знает, что говорит, когда говорит, что в его налитых самогоном глазах «прозрений дивный свет». При всей своей нарочитости и зараженности литературщиной, он кровное дитя своего времени и духа его. При всей своей разновидности, он может быть взят за одну скобку, как кость от кости того «киргиза»,— как

знаменательно, что и Ленин был «рожа», монгол! — который ныне есть хозяин дня. Он и буянит, и хвастается, и молится истинно по-киргизски: «Господи, отелись!» И стоя среди российского солончака, имитируя Пушкина, играя заигранным словечком Герцена, некоторые бахвалятся: «Да, скифы мы с раскосыми глазами!»

Скифы! К чему такой высокий стиль? Чем тут бахвалиться? Разве этот скиф не «рожа», не тот же киргиз, кривоногий Иван, что еще в былинные дни гонялся за конем сраженного Святогора? Правильно тут только одно: есть два непримиримых мира: Толстые, сыны «святой Руси», Святогоры, богомольцы града Китежа — и «рожи», комсомольцы Есенины, те, коих былины называли когда-то Иванами. И неужели эти «рожи» возобладают? Неужели все более и более будет затемняться тот благой лик Руси, коего певцом был Толстой?

Толстой говорил: «Моя ненависть к монгольщине есть идиосинкразия; это не тенденция, это я сам. Откуда вы взяли, что мы антиподы Европы? Туча монгольская прошла над нами, но это была лишь туча, и черт должен поскорее убрать ее без остатка. Нет, русские все-таки европейцы, а не монголы!» Так говорил он не раз, праведно чувствуя, что весь он и как поэт, и как человек есть порождение Руси славянской, а не обдорской, не киргизской. И не раз возмущался:

От скотов нас Дарвин хочет
До людской возвесть средины,
Нигилисты же хлопочут,
Чтоб мы сделались скотины...

Теперь мы среди вящих, неустанных хлопот подобного рода. Будем же крепко помнить о Толстых среди «монгольского» засилия и наваждения!

«Откуда вы взяли, что мы монголы?» В самом деле: откуда это, будто наиболее подлинный образ русского народа есть кривоногий и раскосый Иван с его Инонией,— иначе говоря, с простым, старым, как мир, дикарством,— а не Святогор? «Я мужик, и посему я Русь!» — кричит Иван. Да, но есть мужик и мужик, как сказал толстовский Поток-Богатырь. И след ли Иванам бахвалиться рядом с такими мужиками, как Ломоносов, Кольцов, с такими русскими, как Толстые?

Рос и воспитывался Толстой у дяди по матери, у Перовского, в медвежьей Черниговщине, но уже восьми лет, через поэта Жуковского, был представлен своему ровеснику, будущему императору Александру II, с которым и остался в большой

близости и дружбе на всю жизнь. Так же противоположно пошло и дальше: то черниговская глушь, то Петербург и Европа — отрочество Толстой почти сплошь провел в заграничных путешествиях с матерью и дядей, горячим поклонником Запада и западного искусства. И в отрочестве судьба осчастливила его еще тем, что он был с дядей у Гёте, в его веймарском доме, и сидел у Гёте на коленях. В молодости, пройдя прекрасное домашнее воспитание и выдержав экзамен при университете по словесности, он был причислен к русской миссии в Германии, затем служил в Петербурге и вел жизнь то деревенскую, дикую, охотничью, то столичную, очень светскую и шумную, выделяясь в толпе своими связями, родственными и придворными, и в то же время независимостью от них, блеском ума, остроумия, дружбой с художниками и писателями и вместе с тем дружбой с Наследником Престола, а кроме того, своей простонародной наружностью и силой, истинно богатырской: он, например, легко ломал конские подковы. Покорил ли его себе свет? Нет:

Сердце, сильней разгораясь от года к году,
Брошено в светскую жизнь, как в студеную воду...
Буду кипеть, негодуя тоской и печалью,
Все же не стану блестящей холодною сталью!

Во время крымской кампании Толстой пережил высокий патриотический подъем, добровольно поступил в армию и едва не погиб в тифу, от которого его спас только его необыкновенный организм, царское внимание и уход его будущей супруги, той, к кому обращены строки,— ныне столь известные, полные неувядающей прелести:

Средь шумного бала, случайно
В тревоге мирской суеты...

После крымской кампании Александр II назначил Толстого своим флигель-адъютантом, но Толстой, полагавший единственной целью всей своей жизни свободное служение искусству и уже давно страдавший от своей все же далеко не полной свободы, от своих обязанностей по Двору, отклонил от себя эту новую царскую милость: поступок житейски совершенно необычайный. Тогда ему дали звание Императорского Егермейстера, почти ни к чему его не принуждающее, и он повел жизнь, уже всецело посвященную поэзии, семье, охоте, деревне. В деревне, в черниговском поместье, он и умер - 28 сентября (11

октября) 75 года. И незадолго до смерти «странное», по его выражению, событие произошло с ним, событие, о котором он сам рассказывал в письме к своему другу, княгине Витгенштейн:

«Со мной случилась недавно странная вещь: так как я не мог (от удушья) ни лечь, ни спать сидя, то как-то ночью я принялся за одно маленькое стихотворение. Я уже написал почти страницу, когда вдруг мои мысли спутались и я потерял сознание. Пришедши в себя, я хотел прочесть то, что написал: бумага лежала передо мной, карандаш тоже, а вместе с тем я не узнал ни единого слова в моем стихотворении. Я начал искать, переворачивать бумаги — и так и не нашел моего стихотворения. Пришлось сознаться, что писал я бессознательно, совершенно бессознательно, а вместе с тем мною овладела какая-то мучительная боль, которая состояла в том, что я напрасно хотел вспомнить что-то. Я уже три раза в жизни пережил это чувство — хотел уловить какое-то неуловимое воспоминание — и оно, это чувство, было всегда, как и на этот раз, очень тяжело и страшно. Стихотворение, которое я написал бессознательно, начинается так: «Прозрачных облаков спокойное движенье...»

Немногим, думаю, известен этот предсмертный случай с Толстым и немногими оценен как следует. А меж тем, он с особенной силой свидетельствует об одной из самых существенных черт натуры и таланта Толстого: о том, как вообще было много в этой натуре того, о чем говорят: Божьей милостью, а не человеческим хотением, измышлением или выучкой.

«С шестилетнего возраста, говорит Толстой в своей литературной исповеди, начал я марать бумагу стихами... Но и независимо от поэзии я всегда испытывал непреодолимое влечение к искусству вообще, во всех его проявлениях. Та или другая картина или статуя или прекрасная музыка на меня производили такое сильное впечатление, что у меня волосы буквально поднимались на голове. Мне было тринадцать лет, когда я с родными сделал первое путешествие по Италии. Изобразить всю силу моих впечатлений и весь переворот, совершившийся во мне, когда открылись душе моей сокровища искусства, невозможно...»

И далее:

«Мое первое отроческое путешествие началось с Венеции, где мой дядя сделал большие художественные приобретения. Между прочим им был куплен бюст молодого фавна, приписываемый Микель-Анджело, одна из великолепнейших вещей, какие я только знаю. Когда статую перенесли в наш отель, я не отходил от нее. Я вставал ночью посмотреть на нее, и мое воображение мучили нелепейшие страхи. Я задавал себе вопрос, что мне

делать, если вспыхнет пожар, и делал опыты, могу ли я унести статую. Из Венеции мы отправились в Милан, Флоренцию, Рим, Неаполь, и мой восторг и любовь к искусству все возрастали; дело дошло до того, что по возвращении в Россию, я впал в тоску по Италии, в настоящую «тоску по родине»,— доходил до отчаяния, которое заставляло меня днем и ночью рыдать, когда мои сны уносили меня в мой потерянный рай. После же этой страсти вскоре начало развиваться во мне нечто такое, что с первого взгляда может показаться противоречием: это была страсть к охоте. Я предавался ей с таким жаром, что посвящал ей все мое свободное время. В ту пору я состоял при Дворе Императора Николая Павловича и вел весьма светскую жизнь, которая была для меня не без обаяния, но я часто ускользал от нее, чтобы пропадать целыми неделями в лесах. Я отдался очертя голову этой стихии — и стихия эта и моя любовь к нашей дикой природе отразились на моей поэзии, быть может, почти столько же, как и чувство пластической красоты...»

И точно, Толстой поражает наличностью самых противоположных по форме и по темам созданий. Вот Иоанн Дамаскин, молящий своего повелителя:

— О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!

Вот Поток, богатырь из Киева, который пляшет на пиру у князя Владимира:

В Заднепровье послышался лешаго вой,
По конюшням дозором пошел домовой,
На трубе ведьма пологом машет,
А Поток себе пляшет и пляшет...

А за Потоком следует «Дракон», итальянские терции, от которых не отказался бы сам Данте, за «Драконом» — драматическая поэма «Дон Жуан», а далее — русская драматическая трилогия во главе со «Смертью Грозного»... Вот переводы из Гёте, Шенье, Байрона — и русские были, то величавые, как голос веков, то полные того русского удальства, которое «по всем жилушкам переливается». Вот «летают и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод», а вот:

Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле,

В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле! —

и потрясающая баллада о волках:

Когда в селах пустеет,
Смолкнут песни селян,
И седой забелеет
Над болотом туман...

И просто не верится после этой баллады, что та же рука писала: «Средь шумного бала», «То было раннею весной», «Вот уж снег последний в поле тает» или эту знойную роскошь Крыма:

Клонит к лени полдень жгучий,
Замер в листьях каждый звук...

Что есть у какого-нибудь Есенина, Ивана Непомнящего? Только дикарская страсть к хвастовству да умение плевать. И плевать ему легко. Это истинный Иван Непомнящий. В степи, где нет культуры, нет сложного и прочного быта, а есть только бродячая кибитка, время и бытие точно проваливаются куда-то, и памяти, воспоминаний почти нет. Другое дело Толстые. Как замечательны слова Толстого о той боли, с которой он старался «вспомнить» что-то после обморока! О, Толстым есть что вспомнить! А воспоминание,— употребляю это слово, конечно, не в будничном смысле,— живущее в крови, тайно связующее нас с десятками и сотнями поколений наших отцов, живших, а не только существовавших, воспоминание это, религиозно звучащее во всем нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-то и делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова, приобщающих нас к великой церкви живших и умерших. Оттого-то так часто и бывают истинные поэты так называемыми «консерваторами», то есть хранителями, приверженцами прошлого. Оттого-то и рождает их только быт, вино старое. И оттого-то так и священны для них традиции, и оттого-то они и враги насильственных ломок священно растущего древа жизни.

Произведения Толстого есть лучшее доказательство богатства его натуры и ее разносторонности, столь отличной от искусственной и бездушной «многогранности» наших современников. В этих произведениях много и прямых самохарактеристик: «Коль любить, так без рассудку...» «Господь,

меня готовя к бою, мне душу пылкую вложил, но непреклонным и суровым меня Господь не сотворил...» «Двух станов не боец, а только гость случайный...» «Что ни день, как полымя со влагой, так унынье борется с отвагой...» И самохарактеристики эти лишний раз подтверждают, что это была натура все-таки прежде всего русская, что поэзия Толстого есть действительно «русский глагол». А самохарактеристики в его письмах, дневниках? Вот его чудесное письмо к жене:

- Я верю в Бога всецело и безгранично... Нам, быть может, еще много лет жить на этой земле — будем же стараться быть лучше и достойнее...

- Я не хозяин... Я уже давно утратил чувство собственности, если только я когда-нибудь имел его...

- У меня чувство роскоши очень развито. Я люблю, чтобы были великолепные дворцы, художественные шедевры, но сам я не люблю их иметь. Я их люблю, я ужасно страдаю, когда их портят, когда ими пренебрегают, но сам я ни за что не согласился бы жить в роскошном дворце. Луи Блан проповедует коммунизм и против роскоши, а сам ест дичь с ломтиками ананаса — ты видишь, что он свинья...

- Мой ум под влиянием страстей, но он направлен к добру, к прекрасному, к искусству...

- Я не знаю, как это делается, но почти все, что я чувствую, я чувствую художественно...

- Я не знаю, как другие пишут, но у меня при приближении звуков волосы подымаются и слезы брызгают из глаз...

- Одно время, в молодости, я всецело жил в веке Медичи, я принимал к сердцу произведения этого столетия с таким чутьем, пылом и энтузиазмом, как это мог сделать только современник Бенвенуто Челлини...

Прибавлю к этому и еще несколько цитат — из писем Толстого к друзьям.

Вот он клеймит гонения на национальности, составляющие население России, клянет принудительное, деспотическое обрусение их.

Вот он говорит о Европе, допускающей гибель кандиотов: «Европа выходит из своей роли и поступает по-татарски, и я отказываюсь от такой Европы».

Вот его горячие строки о монархии и деспотии: «Я слишком художник, чтобы нападать на монархию... Но я ненавижу деспотизм, ненавижу так, как ненавижу Сен-Жюста, Робеспьера...

И так, кто же перед нами? Иоанн из Дамаска, соправитель калифа, а потом песнопевец и святитель Божий, или же Илья из Мурома?

— Не терплю богатых сеней,
Мраморных тех плит,
От царьградских от курений
Голова болит...
Снова веет воли дикой
На Илью простор —
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор...

Как видите, на Илью похоже. Но ведь похоже и на Иоанна. Рыцарь или витязь? И опять ответ выходит как будто двойной. «Я жил в веке Медичи». Или из другого письма к жене: «Как в Витбурге хорошо! Даже есть инструменты миннезингеров двенадцатого века. И у меня забилось и запрыгало сердце в этом рыцарском месте, и я знаю, что прежде я к нему принадлежал». Но ведь билось, прыгало сердце не меньше и в другом месте.

Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле!

И ведь сам же Толстой сказал про себя: «Я не принадлежу ни к какой стране — я принадлежу всем. Моя плоть русская, славянская, но душа общечеловеческая».

Сущая правда, все великие души таковы. Но человеческое — одно, а интернационализм или русско-планетарное Неуважай-Корыто, Бога не знающее, родства не помнящее,— другое.

Илья из Мурома или Иоанн из Дамаска? Но ведь оба ходили по мраморным плитам — и оба жаждали поклониться «государыне-пустыне», оба несли подвиг Божий — и оба во святых Его: ведь и Илья почиет в Киевских пещерах.

В 69 году Толстой записал о себе: «Я западник с головы до ног, и настоящий славизм западный, а не восточный». Это в его устах значило: Русь киевская, с Святогором, с Феодосией Печерским. *«Собирание земли»,*— писал он далее: — *Собирать хорошо, но что собирать?* Когда я вспоминаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния!» — Что бы он сказал теперь?

Теперь дело обстоит много, много хуже. Теперь в стихах пролетарских хвастунов даже заборы растут и за этими «заборами низкорослыми» молитвы совершаются на единственном языке, известном российским поэтам,— то есть на матерном («Богу молюсь матерщиною»). Теперь революция в поэзии выродилась,

как в жизни, в большевизм и, достигая своего апогея, притязает, как и большевизм, на монопольный руссизм и даже на миссианство.

«Я обещаю вам Инонию!» — Но ничего ты, братец, обещать не можешь, ибо у тебя за душой гроша ломаного нет, и поди-ка ты лучше проспись и не дыши на меня своей миссианской самогонкой! А главное, все-то ты врешь, холоп, в угоду своему новому барину!

«Луи Блан проповедует коммунизм, а сам ест дичь с ломтиками ананаса — ты видишь, что он свинья».

Если на русских свиней даже и на всех хватит ананасов, все-таки оне останутся свиньями. Но это никак не есть идеал будущей России.

Нет, шутишь! Жива наша русская Русь,
Татарской нам Руси не надо!